

Джен Эйр. Учитель. Эшворт

Три самые романтические истории великой английской писательницы — под одной обложкой!

Роман «Джен Эйр» вошел в золотой фонд мировой литературы. В поисках лучшей доли сирота Джен становится гувернанткой в богатом поместье и понимает, что ее хозяин, мистер Рочестер, скрывает какую-то тайну...

«Учитель» — первое произведение Бронте, опубликованное только после ее смерти. Это история любви молодого учителя и его воспитанницы.

Также в издание вошел неоконченный роман «Эшворт».



Шарлотта Бронте



ДЖЕН ЭЙР
УЧИТЕЛЬ-ЭШВОРТ

Шарлотта Бронте

Джен Эйр. Учитель. Эшворт

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2012

- © Jane Eyre. Гурова И. Г., перевод на русский язык, 2012
- © The Professor. Флейшман Н. П., перевод на русский язык, 2012
- © Ashworth. Тугушева М. П., перевод на русский язык, 2012
- © Тугушева М. П., предисловие, 2012
- © Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2012
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2012

ISBN 978-966-14-4458-3 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

До книги ввійшли вибрані твори Шарлотти Бронте — від ранніх повістей і першого роману «Учитель» до знаменитої «Джен Ейр». Молодий учитель, до нестями закоханий у найскромнішу зі своїх учениць... Сирота гувернантка та хазяїн маєтку, яких розлучає його минуле... Ці сюжети стали класичними для світової літератури.

Бронте Ш.

Б88 Джен Эйр. Учитель. Эшворт / Шарлотта Бронте ; пер. с англ. И. Г. Гуровой, Н. П. Флейшман, М. П. Тугушевой, А. Вироховского ; предисл. М. П. Тугушевой ; худож. Н. Лях. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2012. — 1088 с.

ISBN 978-966-14-3870-4 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2070-1 (Россия)

В книгу вошли избранные произведения Шарлотты Бронте — от ранних повестей и первого романа «Учитель» до знаменитой «Джен Эйр». Молодой учитель, без памяти влюбленный в самую скромную из своих учениц... Сирота гувернантка и хозяин поместья, которых разлучает его прошлое... Эти сюжеты стали классическими для мировой литературы.

УДК 821.111

ББК 84.4ВЕЛ

«Мужайся, Шарлотта, мужайся...»

Она родилась 21 апреля 1816 года. Ей исполнилось четыре, когда отец, пастор Патрик Бронте, получил назначение в этот глухой йоркширский приход. Сейчас Хауорт — всемирно известный Мемориальный Центр. Ежегодно на общее собрание и поминальную службу из разных стран сюда приезжают члены Общества Бронте и многочисленные туристы. Большинство сразу устремляется в церковь Св. Михаила Архангела, где под каменными плитами покоится почти вся пасторская семья.

Скорбный перечень открывает мать семейства, Мария Бронте. Далее следуют имена детей: Мария, Элизабет, Патрик Брэнзуэлл, Эмили Джен, Шарлотта и завершает его *pater familias*[1].

Из церкви, через мрачное кладбище, посетители направляются в скромный пасторский дом. В столовой — два прекрасных портрета, Шарлотты Бронте и ее любимого писателя Уильяма Теккерея. Наверху — спальни. В одной из них — серо-зеленое платье с узкой талией и широкой юбкой, неправдоподобно маленькие черные туфли.

...Эгоистичный и властный, пастор Бронте иногда задумывался о будущем дочерей. Если они не выйдут замуж, им придется работать учительницами или гувернантками. Значит, девочки должны получить необходимое образование, и он отправляет трех старших в благотворительную школу, где голод, холод и жестокое обращение довели Марию и Элизабет до скоротечной чахотки. После их смерти Патрик Бронте предусмотрительно отдает Шарлотту в более гуманное учебное заведение. Здесь она провела полтора года и научилась всему, что в те времена требовалось от гувернантки, а это — знание грамматики, арифметики, французского языка и умение вышивать. Дома Шарлотту ждали Эмили и Анна, готовые учиться, когда не пребывали в своей фантастической стране Гондал, о которой они слагали стихи и саги.

У Шарлотты и Брэнзуэлла тоже была страна грез, Ангрия[2], где совершал геройские и коварные деяния воинственный и неотразимый герцог Заморна, настоящий байронический герой. Вдохновляло и

творчество Вальтера Скотта. Так, под влиянием его романа «Черный карлик» Шарлотта сочиняет новеллу «Зеленый гном», используя прием иронического контраста: если «черный карлик» — благодетель, то «гном» — предатель и злодей.

Все это были увлекательные литературные игры, но... пришло письмо от школьной учительницы. Она предлагала Шарлотте должность помощницы и, в счет части жалованья, обучение Эмили. Они согласились, но Эмили вскоре затосковала по родным холмам и долинам, и ее место заняла Анна.

Все это время Шарлотта сочиняла стихи, которые однажды решила послать на суд знаменитому поэту Роберту Саути. Тот был суров: «Литература не может и не должна быть уделом женщины», — внушает он в ответном письме, хотя стихи ему понравились. По счастью, Шарлотта не вняла «приговору» поэта-лауреата. Она мечтала о литературном труде. Заморна уже не владел ее помыслами, но в одном она оставалась ему верна: ее будущий избранник тоже должен быть непредсказуем, смел и обаятелен. Когда Генри Насси, брат ее школьной подруги Эллен, сделал Шарлотте предложение, она его отвергла — уж очень Генри был прозаичен, а главное, совсем не знал ту, на ком хотел жениться, и, отказывая, она набрасывает в письме свой «портрет»:

«Я не та серьезная, солидная, рассудительная особа, какой вы меня представляете. Я бы показалась вам романтически настроенной и эксцентричной, вы нашли бы меня язвительной и резкой... Я презираю обман и никогда ради того, чтобы обрести почтенное положение замужней дамы и избежать клейма старой девы, не выйду за достойного человека, раз не смогу сделать его счастливым...»

Письмо было честно и мужественно. Ей должно было исполниться двадцать три — возраст по викторианским понятиям критический, когда полагается быть «устроенной», а Шарлотта отказывалась от обеспеченного материального положения, не имея в перспективе ничего, кроме изматывающих обязанностей гувернантки или учительницы, от которых она успела «вкусить» вполне, но работать было необходимо, и она снова идет в «наемницы», и опять изнурительный труд не оставляет ей ни минуты досуга, а она уже начала свой первый (увы — неоконченный) роман «Эшворт». И однажды ее осенило: что, если сестры Бронте откроют в Хауорте

собственную школу? Тогда придет конец зависимости от чужой воли, но для этого надо еще поучиться, например как следует овладеть французским языком. Так Шарлотта и Эмили оказались в Брюсселе, в пансионе супругов Эгер. Эмили через полгода вернулась в Хауорт, Шарлотта осталась.

Рано утром, до занятий, она гуляла в прекрасном саду пансиона, где нередко встречала Эгера, подстригавшего кусты роз. Он давал ей уроки литературы и французского языка, она учила его английскому. Иногда он дарил ей книги, и эти знаки внимания стали для Шарлотты началом неизведанных и пленительных отношений. Она полюбила своего Учителя, и это насторожило «мосье» и «мадам». Эгер стал ее избегать. Постепенно прекратились уроки литературы, затем английского. С каждым днем она чувствовала себя все более одинокой и несчастной и в январе 1844 года вернулась в Хауорт.

Сначала Шарлотта надеялась продлить отношения перепиской:

«...Я не прошу Вас писать мне часто... Как только я заработаю достаточно денег, я приеду и опять, хотя бы на мгновение, встречу с Вами...»

«...Мосье, беднякам немного нужно для пропитания, они просят только крошек, что падают со стола богачей, но если их лишат этих крох, они умрут с голода...»

«...Скажу Вам честно, все это время я пыталась забыть Вас, ибо воспоминание о человеке, которого не надеешься когда-либо снова увидеть и которого тем не менее так высоко ценишь, слишком раздражает сознание... Я делала все возможное, чтобы занять ум, я совершенно отказалась от удовольствия говорить о Вас — даже с Эмили, но оказалась не в силах побороть ни моих сожалений, ни моего нетерпения. А это так унижительно — не иметь контроля над собственными мыслями, быть рабой сожалений, воспоминаний, рабой господствующей и навязчивой идеи...»

...Когда я перечитала это письмо, оно показалось мне довольно мрачным, но — простите меня, мой дорогой Учитель, — пусть не раздражает Вас моя печаль, ибо, как сказано в Библии, «от полноты сердца глаголят уста», и мне, действительно, трудно быть веселой, если я думаю, что больше никогда не увижу Вас... Ш.Б.»

На полях этого письма ее Учитель записал фамилию и адрес своего сапожника.

Когда супруги Эгер прощались с Шарлоттой, они предложили переписываться. Мосье был готов помочь своей ученице советом во всем, что касалось ее замысла открыть собственную школу, и она с энтузиазмом предалась мечтам и планам, ведь школа обещала более или менее постоянную переписку с Эгером, но положение дел в Хаурте ее отрезвило. Отец почти ослеп. Эмили читала ему газеты, вела его переписку, а кроме того, занималась хозяйством, но в определенные часы дня она затворялась у себя в комнате и очень не любила, когда нарушали ее уединение. Она писала стихи. Анна служила гувернанткой, но все еще мечтала о собственной школе, и Шарлотта решила открыть небольшой пансион в пасторском доме. Она горячо взялась за дело, были напечатаны и разосланы проспекты, оставалось подыскать учениц, но желающих не нашлось. Потекли однообразные дни в зимнем Хаурте, томительные из-за ожидания писем, но, по-видимому, только однажды пришла весть от мосье.

Возможно, Эгер тоже находил некую прелесть в отношениях Учителя и Ученицы. Ему, наверное, доставляло удовольствие учить девиц, которые с немым обожанием взирали на профессора: «мосье так умен, так оригинален»! Но мисс Шарлотта — иное дело, она была одинока, несчастна и любила его. Ее письма были полны нежности и отчаяния. Она умоляла, упрекала, гневалась (очень редко), смирялась, опять умоляла, пыталась казаться беспечной и веселой, но главное, не могла и не хотела скрывать своих чувств: они высшего порядка, они имеют право существовать независимо от того, женат мосье или нет. Эгер, однако, был религиозен и строг в вопросах долга, поэтому ответом стало убийственное для нее молчание.

Шарлотта не покорилась безнадежности, и вскоре пришло спасение. Однажды она прочла стихи Эмили. Они поразили ее силой чувства и предельной искренностью. Анна тоже писала стихи. Шарлотта перечитала свои. Пожалуй, можно издать общий поэтический сборник, но, конечно, под мужскими именами. В мае 1846 года «Стихотворения Керрера, Эллиса и Эктона Беллов» были опубликованы (за авторский счет) фирмой «Эйлотт и Джонс», а уже в июне журнал «Атенеум» отозвался благосклонной рецензией, особо похвалив Эллиса Белла (Эмили), «беспокойный дух которого произвел на свет столь оригинальные стихотворения». Ободренные успехом «братья Белл» обратились к прозе, и вскоре Шарлотта, как самая

активная из сестер, предлагает к публикации свой роман «Учитель», «Грозовой перевал» Эмили и «Агнес Грей» Анны. Романы младших сестер были приняты, а «Учитель» отвергнут. Издателям, привыкшим к романтическим повествованиям, он показался скучным и странным. Герой — учитель пансиона, героиня — его ученица, и, между прочим, совсем некрасива, а читатель любит «шелковистые локоны» и «коралловые уста». Но дело было в том, что «Керрер Белл» полемически противопоставил в романе два вида женской привлекательности: красоту «простую» и — «трудную». «Простая» сразу бросается в глаза и воздействует на органы чувств (иногда — весьма низменных), а «трудную» надо уметь распознать под непритязательной внешностью.

«Керрер Белл» не испугался отказа и стал пересылать рукопись от одного издателя к другому, пока не получил благожелательное послание господ Смита и Элдера. Они тоже вернули «Учителя», но изъявили готовность познакомиться с новым произведением явно одаренного автора.

24 августа 1847 года «Керрер Белл» выслал им рукопись «Джен Эйр». 20 октября роман вышел в свет. То был успех — ошеломительный и грандиозный. Читателя потрясли горестные сцены пребывания маленькой сироты Джен в «Ловудском благотворительном заведении для бедных девиц». Его воображение покорила молодая гувернантка Джен Эйр, неспособная на компромисс с несправедливостью и ложью. «Керрер Белл» обладал незаурядным умением вести действие по восходящей, не отступая в сторону, не отвлекая внимания на второстепенное и неинтересное. Суховатое, сдержанное повествование «ловудских» глав сменялось нервно-пульсирующим ритмом торнфилдских сцен в соответствии с нарастающей страстью Рочестера и Джен. А главное, в единоборстве воле, характеров и разных представлений о добре и зле победу одерживал не Рочестер, этот бывший Заморна, но слабая физически и сильная духом, умная и гордая девушка, не желающая покоряться воле тех, кто богаче ее и сильнее. Так злободневная реальность бурных 40-х годов XIX века вторгалась в роман и абстрактный идеал свободной человеческой воли воплощался в романтический и, вместе с тем, такой живой и полнокровный образ новой литературной героини.

Непокорность и смелость Джен Эйр понравились не всем. Особенно негодовал консервативный журнал «Квотерли Ревью»:

«...Книга насквозь проникнута безбожным духом недовольства... в “Джен Эйр” выражены... те же взгляды и мысли, что ниспровергли власть и отрицают законы божеские и человеческие за границей[3] и питают чартизм[4] и смуту в нашей стране...».

Однако критические голоса утонули в хоре восторженных похвал.

«Джен Эйр» на год опередила романы Эмили и Анны. Журнал «Атенеум», высоко оценивший поэзию Эллиса Белла, назвал «Грозовой перевал» «неприятной историей», которая «отвращает истинный вкус». Критик не заметил моральной силы романа: своенравию и эгоизму главных героев у Эмили Бронте противостоит разумное и справедливое отношение ко всему происходящему служанки Нелли Дин. Она осуществляет суд совести над их поступками, и этот суд иногда суров, но всегда неподкупен.

К «Агнес Грей» критика тоже отнеслась не слишком одобрительно: на ее взгляд, роман был чересчур «прост» и «реален». То, что оставалось на периферии «Джен Эйр», стало центральной темой у Анны: унижительное существование работающей женщины, зависящей от злой воли хозяев.

Английская публика еще зачитывалась «Джен Эйр», а «Керрер Белл» уже трудился над романом «Шерли». Работа шла довольно быстро, но затем наступила полоса бед. За неполный год Шарлотта потеряла брата и обеих сестер. Первым, в сентябре 1848 года, «в долину теней» ушел Брэнсуэлл Бронте, жертва белой горячки. Затем наступила очередь Эмили: идя за гробом брата в сильный ливень, она смертельно простудилась и в декабре умерла. Через пять месяцев, в мае 1849 года, в Скарборо, куда Шарлотта отвезла Анну на лечение, та скончалась от туберкулеза. «Мужайся, Шарлотта, мужайся...» были ее последние слова.

После похорон «маленькой», Шарлотта, вернувшись в Хауорт, сама тяжело заболела и не сразу возобновила работу над «Шерли». Сначала она планировала положить в основу романа чартистскую тему, но передумала. Будучи противницей мятежей и революций, не принимая «бунты и восстания», она не могла не понимать, что они вызваны бедственным положением «рабочих рук», которое было особенно безнадежным в начале XIX века, когда новая «машинная» технология

жестоко потеснила ручной труд и английские рабочие «ели хлеб и пили воду горя и нужды». Внимательно изучила она и материалы, в которых рассказывалось об использовании детского труда на фабриках Йоркшира, поэтому один из самых пронзительных эпизодов в «Шерли» — тот, где изображено обычное «деловое» утро фабриканта Роберта Мура, который стоит у входа в цех и штрафует каждого ребенка, опоздавшего хоть на минуту.

Шарлотта Бронте видит свой писательский долг в том, чтобы отобразить давние события «в откровенном свете реальности». Но есть еще «долг любви» и в образах главных героинь романа, Шерли Килдар и Кэролайн Хелстон, она постаралась увековечить Эмили и Анну, наделив Шерли «языческим» отношением к природе, что было свойственно Эмили, а «маленькая демократка» Кэролайн своими размышлениями о справедливости напоминает Анну.

К этому времени у Шарлотты Бронте появились новые друзья: общественная деятельница Гарриет Мартино, писательница Элизабет Гаскелл, автор замечательного романа «Мэри Бартон» (1848), издатель Джордж Смит. По приглашению его матери она не раз бывала в Лондоне, где познакомилась со своим кумиром Теккереем.

«Помню маленькое, дрожащее от волнения создание, большие честные глаза. Я представил себе суровую крошечную Жанну д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль. Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного, возвышенного», — напишет он в своих мемуарах.

Большой интерес и симпатию она вызывала и у Смита. Он всегда был любезен и предупредителен, и ее сердце не осталось «немо», хотя она сопротивлялась новому чувству.

«То, что я старше его на шесть-восемь лет, не говоря уж о полном отсутствии притязаний на красоту и тому подобное, — прекрасное спасительное средство», — пишет она Эллен Насси. Джордж Смит вполне серьезно мог обдумывать возможность брака с новой литературной знаменитостью, но этого союза, очевидно, не желали его родные. Так Шарлотта Бронте вновь узнала горечь разочарования, а история отношений с Джорджем Смитом отозвалась в ее романе «Виллет» («Городок»)[5].

Она не предполагала, что «Учитель» когда-нибудь увидит свет[6], поэтому немало из него заимствует. Так, эксцентричный г-н Пелё

(Эгер) перевоплощается в профессора Поля Эмманюэля, а Фрэнсис Анри становится учительницей Люси Сноу. Она равнодушна к молодому и красивому Джону Бреттону («Смит». — М. Т.), а он, проявив к ней довольно нежную симпатию, влюбляется в прелестную юную Полину. Единственное утешение для Люси — дружба с Полем Эмманюэлем. Они объясняются, однако для брака еще не время, профессору предстоит длительное путешествие. Увы, на обратном пути Поль Эмманюэль погибает во время бури на океане, а Люси навсегда остается несчастной и одинокой...

Напрасно Патрик Бронте изъявлял желание, чтобы роман закончился благополучно. Идея невозможности счастья была так глубоко «впечатлена» (по выражению Гаскелл) в сознание Шарлотты Бронте, что уговорить ее было невозможно. Однако ее отказ был продиктован и другой причиной, о чем она поведала Джорджу Смигу, тоже надевавшемуся на «счастливый конец»:

«Дух романтики указал бы другой путь, более красочный и приятный, но это было бы не так, как бывает в реальной жизни, не соответствовало бы правде, находилось бы в разладе с вероятностью».

Окончив «Виллет», она с удовольствием принимает приглашение матери своего издателя снова побывать в Лондоне, тем более что визит можно совместить с чтением гранок. Однако было еще одно обстоятельство, которое заставляло ее уехать из Хауорта. Помощник отца и самый вероятный его преемник в церковном приходе, Артур Белл Николлс, предложил Шарлотте руку и сердце. Узнав об этом, Патрик Бронте пришел в сильнейшее негодование и выразил его «в крепких словах»: ведь это мезальянс, имя Шарлотты, ее творчество пользуются известностью во всей Европе и в Америке! А кроме того, Патрика Бронте беспокоило хрупкое здоровье теперь уже единственной дочери: он опасался, что оно не выдержит бремени супружеских обязательств, и Шарлотта, чтобы успокоить отца, Николлсу отказала. В Лондоне она предпочитает, по ее словам, «реальную сторону жизни — показательной» и посещает не музеи и театры, как в прошлый раз, а больницы, тюрьмы, Банк.

В феврале 1852 года начали появляться первые рецензии на «Виллет». Они положительны и доставляют ей большое удовлетворение, к тому же это был своеобразный, литературный реванш за неудачу с «Учителем». Но были и огорчения и самое

большое — газетная рецензия на «Виллет», принадлежавшая Гарриет Мартино. Свое мнение о романе она выразила и в личном письме Шарлотте: Люси Сноу чересчур большое значение придает чувству любви в жизни женщины, автор чрезмерно подчеркивает «необходимость» быть любимой, хотя существуют и другие, «важные... интересы, свойственные женщинам всех возрастов». Особенно обидел Шарлотту Бронте намек на чувственность Люси Сноу: нельзя было сводить ее недовольство жизнью (как это делала Мартино) лишь к томлениям плоти, вызванным одиночеством. И Шарлотта Бронте была права: «Виллет» — прежде всего роман о *социальном* одиночестве и отчужденности человека (не обязательно женщины) в современном враждебном мире.

В 50-е годы многое изменилось и в отношении Шарлотты Бронте к официальной политике. Если в «Шерли» было резко выражено негативное отношение к «смутьянам», то есть чартистам, то сейчас в одном из писем к Эллен Насси она хладнокровно замечает:

«Не рассчитывай возбудить мое негодование, все министерства и все оппозиции кажутся мне одинаковыми». Она осуждает военную политику властей, ведущих Крымскую войну 1853—1856 годов: «... когда я читаю об ее ужасах, я не могу не думать, что война — одно из величайших проклятий, выпавших на долю человечества. Надеюсь, долго она не протянется, потому что, как мне кажется, никакая слава не в состоянии компенсировать страдания, которые война причиняет».

Осенью 1853 года в Хаурт приехала Элизабет Гаскелл. Ее поразили опрятность и скромность бедного пасторского дома и царивший в нем строжайший порядок. Разговоры были долгими, откровенными и печальными. Шарлотта рассказывала Элизабет об умерших брате и сестрах, о своих невеселых детстве и юности, о невыносимой жажде самовыражения, которая мучила ее уже тогда. С непоколебимой убежденностью она утверждала, что некоторым людям всю жизнь сопутствует несчастье и самое мудрое поэтому никогда не надеяться на перемены к лучшему.

Прочитав «Виллет», Теккерей писал одной из знакомых:

«Бедная женщина, обладающая талантом. Страстное, маленькое, жадное до жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание. Читая ее роман, я догадываюсь, как она живет, и понимаю, что больше славы и других земных или небесных сокровищ она хотела бы, чтобы какой-

нибудь Томкинс любил ее, а она любила его. Но дело в том, что это крошечное создание ну несколько не красиво, что она погребена в деревне и чахнет от тоски, а никакого Томкинса и не предвидится».

Знарок человеческих сердец ошибался: «Томкинсы» у нее как раз были, и не только Генри Насси, но, между прочим, Джеймс Тэйлор, редактор книжной фирмы «Смит и Элдер», работавший вместе с ней над вторым изданием «Грозового перевала» и «Агнес Грей», а потом появился Николлс, но сначала было трудно отрешиться от воспоминаний об Эгере и романтического «рочестеровского» идеала, а потом — нежной симпатии к Джорджу Смигу. «Страстное, маленькое, жадное до жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание» было очень требовательно.

Но что ее ожидало? Кроме одиночества в Хаурте — постоянная неуверенность в будущем. Был задуман новый роман, но она знала, сколько потребуется и душевных, и физических сил, чтобы довести его до конца. Брак с Николлсом означал более или менее сносное существование, если она не сможет заниматься литературным трудом. Разумеется, она не собиралась от него отказываться, хотя могла предполагать, что далекий от интереса к изящной словесности Артур Николлс вряд ли станет поощрять ее «занятия». Все же, когда он снова сделал предложение, она приняла его и 29 июня 1854 года брак был заключен.

...Сто пятьдесят лет спустя, в июне 2004 года, в церкви Св. Михаила Архангела состоялась служба в память об этом событии. У каменных плит, под которыми похоронены Шарлотта Бронте и ее родные, возвышался огромный венок из белых роз и гвоздик, символизирующий свадебный букет невесты. Священнослужитель напомнил собравшимся о бракосочетании, свершившемся полтора века назад, но не счел возможным назвать это событие счастливым.

Ровно через пять месяцев после свадьбы, 29 ноября, она села за стол, чтобы поработать над новым романом, но муж позвал ее на прогулку. На обратном пути они попали под дождь со снегом и Шарлотта сильно простудилась. Не выздоровев как следует, она поехала в гости, а вернувшись, слегла. Напрасно служанка пыталась подбодрить ее разговорами о будущем ребенке: Шарлотта Бронте была уже слишком больна и слаба, чтобы радоваться и надеяться. 31 марта 1855 года она умерла.

После ее смерти пастор Бронте попросил верного друга дочери, Элизабет Гаскелл, написать «историю ее жизни и трудов». Гаскелл сразу согласилась: она сама чувствовала потребность рассказать о «жизни странной и печальной и о прекрасном человеке, которого такая жизнь создала».

Эллен Насси передала ей для работы триста пятьдесят писем Шарлотты. Николлс, отрицательно относившийся к идее биографии и считавший, что главное в жизни покойной жены было ее положение супруги пастора, а не литературное творчество, — предоставил всего пятнадцать. В поисках дополнительного материала Гаскелл ездила в Брюссель. Эгер холодно принял известную английскую писательницу, но потом вступил с ней в переписку и поделился воспоминаниями. В марте 1857 года фирма «Смит и Элдер» опубликовала «Жизнь Шарлотты Бронте». Труд Гаскелл и в Англии и за океаном читали как самый волнующий и честный биографический документ. Начинаящая тогда американская писательница Луиза Мэй Олкотт, впоследствии видная общественная деятельница и автор популярных романов «Маленькие женщины» и «Маленькие мужчины», была настолько потрясена «печальной, безотрадной жизнью» Шарлотты Бронте, что дала себе обещание «взять судьбу за горло» и стать «полезной обществу женщиной». Для читателя было особенно важно (как важно это и сейчас), что Элизабет Гаскелл не только лично знала Бронте и всегда искренне ею восхищалась, но что она пользовалась ее симпатией и доверием. В этом огромное преимущество «Жизни Шарлотты Бронте» по сравнению с последующими книгами о ней и ее сестрах, а таких изданий великое множество. Это и серьезные биографические и литературоведческие труды, например книга Уинифред Герен «Шарлотта Бронте. Эволюция Гения» (1967 г.), и сочинения, которые бесцеремонно трактуют жизнь писательницы в «свете» фрейдистской сексологии. Несчастливая любовь к Эгеру, увлечение Смитом, ее поздний брак — все является поводом к бесконечным рассуждениям о «подавленных сексуальных импульсах», которые якобы и есть главный источник ее творчества. Однако если бы это было так, если бы «Джен Эйр», «Шерли» и «Виллет» (созданный на основе «Учителя») не затрагивали бы важные общественные, нравственные и психологические проблемы своего времени, эти

романы вряд ли бы сохранили всю притягательность для читателя наших дней. А главное, во многом благодаря Шарлотте Бронте в мировой литературе укоренился образ новой женщины — свободолюбивой, независимой, равной мужчине по интеллекту, стойко преодолевающей все житейские невзгоды.

«Жизнь есть борьба, и все мы должны бороться», — провозгласила она свой девиз в тесных и холодных стенах родного дома, и ее услышали во всем мире.

Не зная многих радостей бытия, она умерла трагически рано, однако силой своего таланта и мужества Шарлотта Бронте завоевала право на бессмертие в литературе.

*Майя Тугушева,
член Общества Бронте*

Джен Эйр

У. Теккерею, эсквайру, с глубочайшим уважением посвящает автор эту книгу

Предисловие автора

В предисловии к первому изданию «Джен Эйр» нужды не было, и мне не пришлось его писать. Но это, второе, издание требует нескольких вступительных слов благодарности и кое-каких пояснений.

Благодарность мне должно принести:

Во-первых, Публике — за снисходительность, с какой она склонила слух к незатейливой повести, ничем особо не блистающей;

Во-вторых, Печати — за благожелательную и беспристрастную поддержку, дарованную безвестному неопиту;

В-третьих, моим Издателям — за помощь, какую их тактичность, их энергия, их практический опыт и доброжелательность оказали неведомому и никем не рекомендованному Автору.

Печать и Публика для меня лишь неопределенные обобщения, и поблагодарить их я могу только в общих словах, однако моих Издателей я знаю и знаю тех благожелательных критиков, которые ободрили меня, как способны благородные и великодушные люди ободрить робкого новичка. И вот им — то есть моим Издателям и этим Критикам — я говорю от всей души: «Господа, сердечно вас благодарю!»

Признав таким образом свой долг тем, кто способствовал выходу моей книги в свет и одобрил ее, я обращусь к другим, чье число, насколько мне известно, невелико, но тем не менее не может быть оставлено без внимания, — к немногим боязливым или сварливо-придирчивым хулителям, кому направление таких книг, как «Джен Эйр», представляется сомнительным, в чьих глазах все необычное уже дурно, чей слух в любом обличении лицемерия — этого отца преступлений — различает оскорбление благочестия, сему наместнику Бога в земной юдоли. Таким недоверчивым судьям я хочу указать на некоторые неопровержимые различия, хочу напомнить им несколько простых истин.

Светские условности еще не нравственность. Ханжество еще не религия. Обличать ханжество еще не значит нападать на религию.

Сорвать маску с лица Фарисея еще не значит поднять руку на Терновый Венец.

Все эти вещи и дела диаметрально противоположны, они столь же различны, как порок и добродетель. Люди слишком уж часто путают их, а путать их нельзя. Нельзя принимать внешность за суть. Нельзя допускать, чтобы узкие человеческие доктрины, служащие вознесению и восхвалению немногих, подменяли учение Христа, искупившее весь мир. Между ними, повторяю, есть различие, и четко обозначить широкую границу, их разделяющую, — поступок благой, а не дурной.

Свету может не нравиться разделение этих идей, поскольку он привык сливать их воедино и находит удобным выдавать внешнюю благопристойность за истинную добродетель — принимать побелку стен за чистоту святилища. Он может ненавидеть того, кто дерзает проверять и обличать, соскабливать позолоту и обнажать низкий металл под ней, вскрывать гроб повапленный и обнажать всем взорам прах внутри — но и ненавидя, он в долгу у такого смельчака.

Ахав не любил Михея, ибо тот не пророчествовал о нем доброго, а только худое. Возможно, угодливый сын Хенааны был ему много приятнее, однако Ахав мог бы избежать кровавой гибели, если бы отвратил слух свой от лести и открыл бы его правдивому совету.

Среди нас живет человек, чьи слова не предназначены для того, чтобы приятно щекотать нежные уши. Он, мне кажется, предстает перед великими мира сего, как некогда сын Иемлая предстал перед царем Израильским и царем Иудейским, сидевшими каждый на седалище своем, и провозглашает истину, столь же глубокую, с силой столь же пророческой и победной, с тем же бесстрашием и дерзновением. Вызывает ли сатирик «Ярмарки тщеславия» восхищение в высших сферах? Не знаю. Но полагаю, если бы некоторые из тех, на кого он обрушивает греческий огонь своих сарказмов, над чьими головами мечет свои перуны, вняли, пока не поздно, его предостережениям, то сами они или семя их могли бы еще избежать Рамофа Галаадского, этой роковой битвы.

Почему я называю этого человека? Я называю его, ибо вижу, что ум его гораздо более глубок и уникален, чем сознают современники; ибо почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей; ибо считаю, что ни один

критик его творений еще не нашел подобающего ему сравнения или слов, верно определяющих его талант. Говорят, что он подобен Филдингу, указывают на его остроумие, юмор, умение рассмешить. На Филдинга он похож, как орел — на стервятника: Филдинг снисходит до падали, но Теккерей — никогда. Остроумие его блистательно, юмор обаятелен, однако к серьезному его гению они имеют то же отношение, что летние зарницы — к смертоносной электрической вспышке, укрытой в глубинах грозовой тучи. И наконец, я называю мастера Теккерейя потому, что ему — если он примет такую дань уважения от неизвестного лица — я посвящаю это второе издание «Джен Эйр».

21 декабря 1847 года.

Каррер Белл

Глава I

Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду (миссис Рид, если не было гостей, обедала рано) ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло.

А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимала тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Элиза, Джон и Джорджиана Риды.

Теперь указанные Элиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке: она полулежала на кушетке у камина и, окруженная своими ангельчиками (в эту минуту они не ссорились и не плакали), выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня поодаль, но, пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной — ну, словом, более естественной, — она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых.

— А что Бесси наговорила, будто я сделала?

— Джен, я не терплю хныканья и дерзких вопросов, к тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой.

К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной

нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гардину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.

Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид — вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнуцимися ветками деревьев и кустов.

Я вернулась к моей книге — «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, «пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам», приюту лишь их одних, — побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере,

Где Северный вскипает Океан
Вокруг нагих унылых островов
Далекой Туле; где на грозные Гебриды
Гнев рушат атлантические волны[7].

Не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии — все эти «необъятные протяжения Арктической зоны, эти неисследованные области, гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой, и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов». У меня сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств: смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодке на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль.

Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющей даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца — указания на наступление ночи.

Два судна, скованных штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками.

Страницу, на которой дьявол крепко держал вора за его суму, я тут же перевернула, холодея от ужаса.

Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то черный и рогатый, глядя на толпу вдалеке, окружающую виселицу.

Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств и все же необычайно интересную — не меньше рассказов Бесси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для утюжки у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платьях миссис Рид, плоила ее ночные чепцы и потчевала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и (как я поняла позднее) из «Памелы» или «Повести о Генри, графе Морленде».

С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад. И боялась только одного: что мне помешают, как и произошло слишком скоро. Дверь отворилась.

— Ба! Госпожа Нюня! — раздался голос Джона Рида и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой. — Куда, прах ее побери, она подевалась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоан тут нет! Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянь этакая!

«Хорошо, что я задернула гардину», — подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. И Джон Рид меня не нашел бы — он был туп и ненаблюдателен, но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала:

— Она за гардиной, Джек, где ей еще быть?

И я сразу вышла в комнату, дрожа при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно.

— Чего вам? — спросила я с неловкой робостью.

— Ну-ка скажи: «Что вам угодно, мастер Рид?» — последовал ответ. — А угодно мне, чтобы ты подошла сюда!

Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним. Джон Рид был четырнадцатилетним школьником (на четыре года старше меня, так как мне было тогда всего десять), крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоянного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щеки дряблыми. Собственно, ему полагалось бы сейчас быть в школе, но маменька забрала его домой на месяц-два «по причине деликатного здоровья». Мистер Майлс, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сладостей, однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурной цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому.

Джон питал очень мало любви к матери и сестрам, а ко мне — живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня — и не два-три раза в неделю, не раз-другой на дню, но непрерывно: каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и все мое существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал. Ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти наперекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа и глуха: она не видела, как он меня бьет, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь ее присутствия. Правда, чаще это происходило у нее за спиной.

Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно три минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корня. Я знала, что потом он меня ударит, и хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесет. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно без единого слова ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась.

— Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной, — сказал он, — и за то, что ты подло пряталась за занавеской, и за то, как ты на меня смотрела две минуты назад, слышишь, крыса!

Я давно привыкла к грубостям Джона Рида, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за бранью.

— Что ты делала за занавеской? — спросил он.

— Читала.

— Покажи книгу.

Я вернулась к окну и принесла ее.

— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты приживалка; у тебя нет денег, твой отец тебе ничего не оставил; тебе бы надо милостыню кланчить, а не жить здесь с детьми джентльмена, есть то же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька. Ну, я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках! Они ведь мои, весь дом мой — или станет моим через несколько лет. Иди встань у двери, подальше от зеркала и окон.

Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал. Но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть ее, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону. Но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из ссадины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошел, сменившись другими чувствами.

— Гадкий, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!

Я читала «Историю Рима» Голдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих. И про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух.

— Как! Как! — завопил он. — Она сказала мне такое? Вы ее слышали, Элиза и Джорджиана? Ну, я скажу маменьке, но сперва...

Он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо... но он напал на существо, доведенное до отчаяния. Я правда видела в нем тирана, убийцу. Я чувствовала, как у меня по щеке сползают капли крови, испытывала острую боль, и все это на время возобладало над страхом. Я сопротивлялась как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только он охнул: «Крыса! Крыса!» и

завопил во всю мочь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза с Джорджианой уже сбегали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббот, своей камеристки. Нас растащили. Я услышала слова:

— Подумать только! Набросилась на мастера Джона, как помешанная!

— Просто невообразимо, до чего она разъярилась!

А затем миссис Рид приказала:

— Уведите ее в Красную комнату и закройте там!

В меня тотчас вцепились две пары рук и понесли наверх.

Глава II

Я сопротивлялась до самого конца. Нечто новое для меня и заметно укрепившее дурное мнение обо мне и Бесси, и мисс Эббот. Я и правда была не в себе или, вернее, вне себя, как говорят французы. Понимая, что секундный бунт уже обрек меня на неведомые кары, я, подобно всем восставшим рабам, в порыве отчаяния была исполнена решимости идти до конца.

— Держите ее руки, мисс Эббот, она хуже бешеной кошки!

— Стыдно! Стыдно! — вскричала камеристка. — Какое мерзкое поведение, мисс Эйр, — ударить молодого джентльмена, сына вашей благодетельницы! Вашего молодого хозяина!

— Хозяина? Как так — хозяина? Разве я служанка?

— Нет, вы ниже, чем последняя судомойка, ведь вы едите свой хлеб даром. Ну-ка сядьте и хорошенько подумайте о своем дурном сердце.

К этому времени они уже водворили меня в комнату, указанную миссис Рид, и насильно усадили на что-то мягкое. Я было вскочила как ужаленная, но они вновь схватили меня и удержали на месте.

— Раз не хотите сидеть смиренно, придется вас связать. Мисс Эббот, одолжите мне ваши подвязки, мои она сразу разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с пухлой ноги требуемые узы. Эти приготовления и новое унижение, каким они завершились бы, немного меня усмирили.

— Не снимайте их! — вырвался у меня крик. — Я не встану.

И в подтверждение я обеими руками вцепилась в мягкое сиденье.

— Ну, смотри! — сказала Бесси, а когда убедилась, что я и правда присмирела, то отпустила меня, и они с мисс Эббот стояли надо мной, скрестив руки на груди, подозрительно и хмуро вглядываясь в мое лицо, словно сомневаясь, в здоровом ли я уме.

— Прежде она такого не вытворяла, — наконец сказала Бесси, повернувшись к камеристке.

— Только оно всегда в ней сидело, — ответила та. — Я хозяйке часто говаривала, какова, по-моему, эта девочка, и хозяйка, она со

мною соглашалась. В тихом омуте черти водятся. В жизни не видела, чтоб маленькая девочка была такой скрытной.

Бесси ничего не ответила, но затем сказала мне:

— Вам бы след помнить, мисс, что вы миссис Рид всем обязаны — она вас содержит. А если прогонит вас, так вам одна дорога — в работный дом.

Мне нечего было ответить на эти слова. Слышала я их не в первый раз. Самые первые мои воспоминания включали вот такие намеки. Попреки в моей обездоленности превратились в моих ушах в какой-то неясный напев — очень мучительный и унижительный, но понятный лишь наполовину. Мисс Эббот не замедлила подхватить:

— И вам не след считать себя ровней молодым барышням и мастеру Риду потому только, что хозяйка по доброте своей позволила, чтоб вы воспитывались вместе с ними. Они-то получают большие деньги, а вы — ничего, так вам надо набраться смирения, стараться угождать им.

— Мы ж вам это все говорим для вашей же пользы, — добавила Бесси совсем не злым голосом. — Уж постарайтесь быть полезной, приветливой, так, может, и останетесь жить тут. А если начнете злиться и грубить, хозяйка вас отошлет, это уж как пить дать.

— А кроме того, — подхватила мисс Эббот, — ее Боженка покарает: поразит смертью, когда она будет беситься, и куда ей тогда прямая дорога? Пойдем, Бесси, оставим ее. Вот уж не хотела бы, чтоб мое сердце было бы таким черным, как у нее. А вы, мисс Эйр, когда останетесь одни, помолитесь хорошенько. Не то, если не покаетесь, как бы нечистая сила не забралась бы в трубу да и не утащила бы вас.

Они ушли, закрыв за собой дверь и заперев ее.

Красная комната была запасной спальней, которой пользовались очень редко, вернее сказать — никогда, кроме тех случаев, когда в Гейтсхед-Холл съезжалось столько гостей, что ни единой другой свободной комнаты не оставалось. И это притом что Красная комната была одной из самых больших и роскошных в доме. В центре, точно алтарь, возвышалась кровать красного дерева с массивными столбиками, поддерживавшими полог из багряного дамаска. Два больших окна с никогда не открывавшимися ставнями были наполовину занавешены гардинами из той же ткани, ниспадавшими фестонами и волнистыми складками. Ковер был красным. Стол в ногах

кровати был накрыт малиновой скатертью. Цвет стен был золотисто-коричневатым с розовым оттенком; комод, туалетный столик, стулья — все были старинного темно-красного дерева, тщательно отполированного. Среди общей этой темно-красности резала взгляд снежная белизна пикейного покрывала, прятавшего взбитые пуховики и подушки. Почти столь же слепящее-белым выглядело глубокое покойное кресло у изголовья со скамеечкой для ног. Мне оно показалось мертвенно-белесым треном.

В комнате царил холод, так как в ней редко топили камин; там стояла мертвая тишина, так как она находилась далеко от кухни и детской, и она казалась мрачной, так как туда редко кто-нибудь входил. Только горничные по субботам стирали с зеркал и мебели пыль, тихо осевшую на них за неделю; да изредка ее посещала сама миссис Рид, чтобы проверить содержимое потайного ящика комода, где хранились разные документы, шкатулка с ее драгоценностями и миниатюра ее покойного мужа. Эти последние слова заключают в себе тайну Красной комнаты, то заклятие, из-за которого она пустовала, несмотря на все свое великолепие.

Мистер Рид девять лет покоился в могиле, и свой последний вздох он испустил на этой кровати. Здесь он лежал в гробу, отсюда подручные гробовщика отнесли его на кладбище, и с того дня что-то вроде священного страха оберегало Красную комнату от частых вторжений.

Сиденье, к которому Бесси и злобная мисс Эббот пригвоздили меня, оказалось низенькой оттоманкой возле мраморного камина. Прямо передо мной вздымалась кровать, справа высился темный комод — отражения в его полированной стенке казались неясным узором, слева находились занавешенные окна, и высокое зеркало между ними повторяло тоскливое величие кровати и комнаты. Я не знала точно, заперли ли они дверь, и, когда набралась смелости встать, пошла проверить, так ли это. Но увы! Никакая темница не запиралась столь надежно. Возвращаясь к оттоманке, я должна была пройти мимо зеркала, и мой замороженный взгляд невольно измерил его глубины. Все в этой воображаемой нише выглядело более холодным, более темным, чем в натуре. И смотревшая на меня оттуда одинокая фигурка, чьи побелевшие лицо и руки выделялись в сумраке, а блестящие от страха глаза были единственным, что двигалось среди общей

неподвижности, более всего походила на привидение. Мне она напомнила тех маленьких духов, наполовину фей, наполовину бесенят, которые в рассказах Бесси населяли заросшие папоротником болотца среди вересковых пустошей и внезапно появлялись перед запоздалыми путниками. Я вернулась на оттоманку.

За эти минуты во мне пробудилось суеверие, но час его полной победы еще не настал: моя кровь еще оставалась теплой, во мне еще не угасло горькое воодушевление взбунтовавшегося раба. И прежде чем темное настоящее удручило меня, я надолго оказалась во власти быстрого потока воспоминаний и мыслей.

Все тиранические издевательства Джона Рида, спесивое безразличие его сестер, отвращение их матери, угодливое презрение прислуги — все это всколыхнулось в моем возмущенном сознании, точно ил, взбаламученный в воде колодца. Почему я все время обречена страданиям, всегда подвергаюсь унижениям, всегда оказываюсь виноватой, всегда бываю наказана? Почему мной всегда недовольны? Почему бесполезны любые попытки кому-то понравиться? Элизу, упрямую и себялюбивую, уважают. Джорджиану, капризную, очень злопамятную, мелочно придирчивую, дерзкую, все балуют, во всем ей потакают. Ее красота, ее розовые щеки и золотые локончики словно бы чаруют всех, кто ни посмотрит на нее, заранее искупая любые провинности. Джону ни в чем не препятствуют, и уж тем более его ни за что не наказывают, хотя он сворачивает шеи голубям, убивает цыплят цесарки, натравливает собак на овец, обрывает все плоды в оранжерее, обламывает все бутоны на редких растениях. Он называет мать старушенцией, иногда ругает за смуглую кожу, такую же, как у него, грубо перечит ей, не так уж редко рвет и портит ее шелковые платья, и все равно он — ее «милый сыночек». Я боюсь хоть в чем-нибудь провиниться, я стараюсь добросовестно исполнять все свои обязанности, а меня называют непослушной и дерзкой, злокой и хитрой тихоней с утра до полудня и от полудня до ночи.

Голова у меня все болела от полученного удара, от ушиба о дверной косяк, а из ссадины все еще сочилась кровь, но никто не побранил Джона за то, что он без всякой причины набросился на меня, а я, потому лишь, что воспротивилась ему, пытаюсь избежать новых беспричинных побоев, стала предметом всеобщего осуждения.

«Несправедливо! Несправедливо!» — твердил мой рассудок, обретший взрослою, хотя и временную остроту от боли и обиды. И они же породили решимость прибегнуть к любому средству, только бы спастись от невыносимой тирании, — например, убежать, а если не удастся, больше не есть и не пить, пока не умру.

Какие душевные муки терзали меня в эти последние часы унылого дня! В каком смятении пребывал мой мозг, как бунтовало мое сердце! Но в каком мраке необъяснимости велся этот мысленный бой! Я не находила ответа на неумолчный внутренний вопрос — почему, за что я так страдаю? Теперь с расстояния... не скажу скольких лет, я нахожу его без всякого труда.

Я вносила дисгармонию в Гейтсхед-Холл. Я же была иной, чем все остальные там: у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными вассалами. Они меня не любили, так ведь и я их не любила. С какой стати должно было внушать им добрые чувства существо, взаимно не симпатичное каждому из них, существо, совершенно им чужое, полная их противоположность по характеру, по способностям, по склонностям; никчемное существо, которое не могло стать ни полезным им, ни еще одним источником радостей; ядовитое существо, возвращающее семена возмущения их обхождением, презрения к их мнениям. Я знаю, что, будь я задорной, веселой, беззаботной, требовательной и красивой резвухой, пусть и столь же обездоленной и зависимой от нее, миссис Рид терпела бы мое присутствие более спокойно, ее дети скорее были бы склонны видеть во мне подружку, а слуги не старались бы сваливать на меня вину за все, что могло приключиться в детской.

Дневной свет мало-помалу прощался с Красной комнатой; время шло к половине пятого, и пасмурный день переходил в гнетущие сумерки. Я слышала, как дождь все еще неумолчно стучит в окно лестницы, как воет ветер в рощице позади дома. Мне становилось все холоднее и холоднее, и тут смелость покинула меня. Привычное состояние униженности, сомнения в себе, тоскливой подавленности подернуло сыростью угли моего угасающего гнева. Все называли меня скверной девочкой, так, может быть, я и вправду такая? Разве я минуту назад не думала о том, как уморить себя голодом? Это, бесспорно, грешная мысль, а достойна ли я смерти? И такой ли желанный приют склеп под приделом гейтсхедской церкви? В этом склепе, как мне

говорили, погребен мистер Рид. И тут мои мысли обратились к нему, наводя на меня все больший страх. Я его не помнила, но знала, что он был моим родным дядей — братом моей матери, что он взял меня, осиротевшую на первом году жизни, в свой дом и что на смертном одре он потребовал от миссис Рид обещания, что она будет содержать и воспитывать меня, как собственную дочь. Вероятно, миссис Рид считала, что ни в чем не отступила от своего обещания, да так, полагаю, оно и было в той мере, в какой ей позволяла ее натура. Но как могла она питать добрые чувства к завещанной ей воспитаннице, не связанной с ней кровными узами, а после смерти ее мужа так вообще никакими? Несомненно, ее крайне тяготила необходимость из-за вырванного у нее слова заменять мать чужому ребенку, которого она не могла любить, и терпеть постоянное присутствие неприятной чужачки в своем семейном кружке.

Меня осенила странная мысль. Я не сомневалась — никогда не сомневалась, — что мистер Рид, будь он жив, обходился бы со мной заботливо и ласково. И вот теперь, глядя на белую кровать и тонущие в сумраке стены, а порой и обращая завороченный взгляд на смутно поблескивающее зеркало, я начала припоминать все истории, какие слышала о мертвецах, которые не находят покоя в могилах потому, что их последняя воля не была исполнена, и возвращаются в мир живых, дабы покарать нарушивших клятву и отомстить за обиженных. И мне пришло в голову, что дух мистера Рида, разгневанный несправедливостями, которые терпит дочь его сестры, может покинуть то ли церковный склеп, то ли неведомый мир, где пребывают усопшие, и явиться мне в этой комнате. Я утерла слезы и подавила рыдания, боясь, как бы на свидетельства бурного горя не отозвался потусторонний голос, дабы утешить меня, или из темноты не возникло бы лицо, окруженное ореолом, и не склонилось бы надо мной с неземной жалостью. Хотя в теории эта мысль казалась утешительной, я почувствовала, что осуществление ее на деле было бы ужасным, и изо всех сил постаралась прогнать ее, постаралась быть твердой. Стряхнув волосы с глаз, я откинула голову и попыталась обвести темную комнату смелым взглядом — и в этот миг на стену лег светлый блик. Может быть, спросила я себя, лунный луч проник в щелку между ставнями? Нет, лунный свет неподвижен, а этот двигался: на моих глазах он скользнул к потолку и затрепетал у меня над головой. Теперь

я не сомневаюсь, что, вероятнее всего, кто-то шел через лужайку с фонарем, луч которого скользил по ставням, но тогда я с трепетом ожидала неведомых ужасов, мои нервы были возбуждены до крайности, и быстро скользящий блик представился мне предвестником потустороннего видения. Сердце у меня заколотилось, мои уши заполнил звук, показавшийся мне шелестом крыльев, я ощутила чье-то присутствие... Меня что-то давило, душило, и, утратив всякую власть над собой, я бросилась к двери и стала отчаянно дергать ручку. В коридоре послышались бегущие шаги, ключ повернулся в замке, и вошли Бесси с Эббот.

— Мисс Эйр, вам нехорошо? — спросила Бесси.

— Какой жуткий шум! Меня всю будто жаром обдало! — воскликнула Эббот.

— Выпустите меня! Можно, я вернусь в детскую? — кричала я.

— Зачем? Вы поранились? Вам что-нибудь привиделось? — расспрашивала меня Бесси.

— Ой! Я видела свет и подумала, что увижу привидение! — Я уцепилась за руку Бесси, и она ее не отняла.

— Она нарочно завопила, — заявила Эббот со злостью. — Оглохнуть можно было. Ну, заболи у нее что-то, так еще понятно было бы, но она же только одного хотела: чтобы мы все сюда прибежали. Знаю я подлые ее хитрости!

— В чем дело? — властно спросил еще один голос: по коридору шла миссис Рид. Ленты ее чепца развевались, платье воинственно шуршало. — Эббот и Бесси! Мне кажется, я распорядилась, чтобы Джен Эйр оставили в Красной комнате, пока я сама за ней не приду.

— Мисс Джен так громко кричала, сударыня, — сказала Бесси умоляюще.

— Не поддерживайте ее! — был единственный ответ. — Отпусти руку Бесси, девочка! Не сомневайся, таким способом ты ничего не добьешься. Я не терплю притворства, особенно в детях. Мой долг — показать тебе, что от лживых уловок пользы не бывает. Теперь ты пробудешь тут на час дольше, но и тогда я тебя выпущу, только если ты смиришься и будешь вести себя очень тихо.

— Тетя, сжальтесь! Простите меня! Я не вынесу... накажите меня как-нибудь по-другому! Я умру, если...

— Молчать! Эта буйная выходка отвратительна!

Без сомнения, она не кривила душой. В ее глазах я была не по летам умелой притворщицей. Она искренне видела во мне сочетание взбалмошности, скверного нрава и опасной двуличности.

Бесси и Эббот вышли в коридор, и миссис Рид, еще более раздраженная моим теперь исступленным отчаянием и судорожными рыданиями, втокнула меня внутрь без дальних слов и заперла дверь. Я услышала, как она удаляется, гневно шурша юбками, и тут, видимо, я потеряла сознание, и все подернулось темнотой.

Глава III

Следующее мое воспоминание: я просыпаюсь будто от страшного кошмара и вижу жуткое багровое сияние, пересеченное черными полосками. И я слышу голоса, странно глухие, будто доносящиеся сквозь шум ветра или воды. Волнение, растерянность и властвующий надо всем ужас мутили мое сознание. Вскоре я почувствовала чьи-то руки: кто-то приподнял меня и усадил, поддерживая за плечи, причем никогда еще меня не приподнимали и не поддерживали с такой ласковой бережностью. Я прислонилась головой не то к подушке, не то к чьей-то руке, и мне стало легче.

Через пять минут туман, окутывавший мой мозг, рассеялся. И я поняла, что нахожусь в собственной кровати, а багровое сияние исходит от огня в камельке детской. Была ночь. На столе горела свеча. В ногах кровати стояла Бесси с тазиком в руке, а в кресле возле моего изголовья сидел незнакомый джентльмен и низко наклонялся надо мной.

Я испытала неизъяснимое облегчение: близость постороннего человека, не обитателя Гейтсхеда, не родственника миссис Рид, успокаивала, обещала защиту. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было для меня куда менее тягостным, чем, например, Эббот), я взгляделась в его лицо и узнала мистера Ллойда, аптекаря, которого миссис Рид иногда звала к заболевшим слугам. Себя и своих детей она поручала заботам врача.

— Ну-с, кто я? — спросил он.

Я назвала его фамилию и протянула ему руку. Он взял ее с улыбкой, говоря:

— Скоро мы будем чувствовать себя совсем хорошо!

Затем мистер Ллойд осторожно положил меня и, обратившись к Бесси, велел ей последить, чтобы ночью меня не тревожили. Он отдал еще несколько распоряжений, упомянул, что заглянет на следующий день, и удалился — к большому моему огорчению. Мне было так уютно, так спокойно, пока он сидел у моего изголовья. И когда он

притворил за собой дверь, в комнате словно стало темнее, и сердце у меня вновь упало, удрученное невыразимой тоской.

— Мисс, а вы уснете, как вам кажется? — спросила Бесси мягко.

Я ответила ей лишь с большим трудом, ожидая услышать злой упрек:

— Постараюсь.

— Дать вам попить? А может, скушаете чего-нибудь?

— Нет, спасибо, Бесси.

— Так я, пожалуй, лягу. Ведь время уже за полночь. Но если вам что понадобится ночью, так вы меня позовите.

Какая удивительная заботливость!

Осмелев, я спросила:

— Бесси, а что со мной такое? Я заболела?

— Думается, в Красной комнате вам стало нехорошо, так вы сильно плакали. А теперь вам, надо быть, скоро полегчает.

Бесси пошла в комнату горничной рядом с детской. Я услышала, как она сказала:

— Сара, ляг со мной в детской. Я страх боюсь остаться одна с бедной девочкой. Она ж и умереть может! И что с ней такое приключилось? Может, ей что привиделось? Хозяйка была слишком уж строга.

Она вернулась с Сарой, и они легли спать. Но перед тем, как заснуть, шептались добрых полчаса. До меня доносились обрывки их разговора, и я более чем ясно понимала, какую тему они обсуждают.

«Что-то прошло совсем рядом с ней, белое такое, и исчезло...» «А следом за ним — большой черный пес...» «Три громких удара по двери...» «Свет на кладбище прямо над его могилой...» И так далее, и так далее.

Наконец обе уснули, свеча и огонь погасли. Для меня часы этой ночи тянулись в жутком бдении. Уши, глаза, ум были равно во власти ужаса — того ужаса, какой способны испытывать только дети.

Случившееся в Красной комнате не завершилось тяжким или длительным телесным недугом: оно всего лишь вызвало у меня такое нервное потрясение, что его отголоски я испытываю по сей день. Да, миссис Рид, вам я обязана тягчайшими душевными страданиями. Но мне следует простить вас, ибо вы не ведали, что творили: надрывая

струны моего сердца, вы считали, что искореняете мои скверные наклонности, не более того.

На следующий день к полудню я встала, оделась и укутанная в шаль сидела у камелька в детской. Физически я чувствовала себя очень слабой и разбитой, но куда хуже была моя душевная подавленность — подавленность, заставлявшая меня все время тихо плакать. Не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как тотчас по ней скользила другая. А ведь, думала я, мне следовало бы чувствовать себя счастливой: никого из младших Ридов дома не было — они уехали кататься в карете с маменькой, Эббот шила в соседней комнате, а Бесси, убиравшая игрушки на место и приводившая в порядок ящики комода, иногда заговаривала со мной с непривычной ласковостью. Казалось бы, мне, привыкшей к постоянным выговорам, к необходимости прислуживать, не получая ни слова благодарности, должно было бы казаться, будто я оказалась в раю тишины и покоя, однако мои истерзанные нервы достигли того состояния, когда тихая безмятежность уже не могла их успокоить и никакое удовольствие не вызвало бы приятного волнения.

Бесси спустилась в кухню и вернулась с пирожным-корзиночкой на фарфоровой тарелке с ярким красивым узором — райские птицы, обрамленные венком из розовых бутонов в сплетении листьев, давно вызывали у меня восторженное восхищение, и я часто просила позволения взять тарелку в руки, чтобы получше их разглядеть, но до сих пор меня считали недостойной такой чести. И вот теперь бесценная тарелка была водворена на мои колени, и меня ласково уговаривали съесть хоть кусочек изящной коронки из теста, лежащей на ней. Напрасная поблажка! Подобно большинству поблажек, в которых долго отказывают и о которых пылко мечтают, оказанная слишком, слишком поздно! Я даже надкусить корзиночку не могла, а оперение птиц и лепестки цветов выглядели странно поблекшими. Я отставила тарелку вместе с корзиночкой. Бесси спросила, не читаю ли я книжку. Слово «книжка» временно меня подбодрило, и я попросила Бесси принести мне из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала снова и снова с неубывающим восторгом. Мне она казалась рассказом о том, что произошло на самом деле, и вызывала у меня куда более глубокий интерес, чем сказки: ведь после долгих тщетных поисков эльфов среди листьев наперстянки, в

венчиках колокольчиков, под шляпками грибов и под плетями плюща на обомшелой ограде я в конце концов смирилась с печальным выводом, что все они переселились из Англии в какую-то дикую страну, где леса по-прежнему дремучи, а людей совсем мало. Тогда как Лилипутия и Бробдингнейг, как я твердо верила, действительно существуют где-то на земле. Я не сомневалась, что могу в один прекрасный день после долгого плавания собственными глазами увидеть маленькие поля, домики и деревья, миниатюрных людей, крохотных коров и птиц первого королевства, а после того — хлебные колосья высотой с корабельные мачты, могучих псов, чудовищных кошек и исполинских жителей второго. Тем не менее теперь, когда любимый том был вложен в мои руки, когда я начала листать его, ища в великолепных иллюстрациях то очарование, которое до сих пор неизменно находила в них, они показались мне жуткими, наводящими тоску и уныние. Великаны выглядели тощими людоедами, карлики — злобными, нагоняющими страх уродцами, а Гулливер — бесконечно одиноким странником в самых страшных и опасных областях мира. Я закрыла книгу, не решившись прочесть хотя бы строчку, и положила ее на тумбочку рядом с корзиночкой, к которой так и не притронулась.

Кончив прибирать комнату и вытирать пыль, Бесси вымыла руки, открыла некий ящичек, полный чудесных шелковых и атласных лоскутков, и занялась изготовлением новой шляпки для куклы Джорджианы, напевая вполголоса. А пела она вот что:

В дни, когда мы кочевали,
Так давно-давно...

Я часто слышала эту песню раньше — и всегда с живейшей радостью, так как голос Бесси был очень мелодичным... по крайней мере таким он казался мне. Но теперь, хотя ее голос ничуть не утратил мелодичности, в звуках песни мне почудилась невыразимая печаль. Иногда, поглощенная своей работой, она на припеве понижала голос почти до шепота, растягивая слова, и «Так давно-давно» обретало скорбную каденцию погребального гимна. Затем она завела вторую балладу, на этот раз по-настоящему грустную:

Устала идти я, и ноженьки ноют.
Как дики здесь горы, как тропы круты,
И сумерки скоро дорогу закроют
От взоров лишенной всего сироты.

Почто же послали меня так далеко,
Туда, где лишь скалы да дрока кусты?
Люди со мной поступают жестоко,
Но ангелы бдят над судьбой сироты.

И ветер мне теплый лицо овевает,
И светят мне звезды с небес высоты,
Господь в милосердьи своем утешает
Печали бредущей во тьме сироты.

Коль в пропасть иль в топь завлекут меня злые
Огни, что блуждают среди темноты,

Отец мой небесный за муки былые
Душу к себе призовет сироты.

Без близких и крова живу я, тоскуя,
Но в сердце не вянут надежды цветы:
На небе мой дом, там его обрету я.
Бог — любящий друг и оплот сироты.

— Да ну же, мисс Джен, не плачьте, — сказала Бесси, кончив петь.
С тем же успехом она могла сказать огню: «Не обжигай!» Но как она
могла знать, какие тяжкие муки меня терзали?

Вскоре в детскую вошел мистер Ллойд.

— Как! Уже на ногах! — сказал он, притворяя за собой дверь. —
Ну-с, нянюшка, как она?

Бесси ответила, что мне много лучше.

— Тогда ей следует выглядеть повеселее. Подойдите-ка сюда, мисс
Джен. Вас ведь зовут Джен?

— Да, сэр, Джен Эйр.

— Ну-с, вы плакали, мисс Джен Эйр, так не скажете ли мне, из-за
чего? У вас что-нибудь болит?

— Нет, сэр.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ